ОБОЖЖЁННЫЕ

Он не сгорел. Он обожжён. И это хуже



Jack Stails & Voindin

Жженые

Jack Stails

Обожжённые

«Автор»
2026

Stails J.

Обожжённые / J. Stails — «Автор», 2026 — (Жженые)

В наследство зятю досталась не квартира: коробка с карточками, тетради со столбцами чисел и дневник, который в доме молчал два года. Открывать не велено. Выкинуть не получается. Числа в тетрадях взяты из открытых источников — и это самое тревожное: всё уже можно проверить, проверять только страшно. Дома не говорят об этом вслух. Дочь задала однажды вопрос — и отец закрыл тетрадь. «Он не сгорел. Он обожжён. И это хуже».

© Stails J., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Порядок 6
Глава 1. Очередь 6
Глава 2. Дом 8
Глава 3. Тесть 12
Глава 4. Наследство 14
Глава 5. Пакет 16
Глава 6. Коробка 18
Тайный дневник Марка 20
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Jack Stails
Обожжённые

ОБОЖЖЁННЫЕ

Роман в графах и проверках

Вторая книга серии: ПРОЖЖЁННЫЕ — ОБОЖЖЁННЫЕ — ВЫЧИЩЕННЫЕ

Это художественное произведение. Персонажи вымышлены. Документы, выписки и служебные бумаги являются литературными реконструкциями; статистические ряды и цитируемые данные соответствуют открытым публичным источникам. Все совпадения с реальными людьми случайны.

Часть первая. Порядок

Глава 1. Очередь

В понедельник я считал очередь у автомата.

Шесть человек. Считал не потому, что надо, — привычка. Я считаю всё, что стоит подряд: людей, столбы, этажи. Считаю до ста, дальше сбиваюсь. До ста в этот раз не дошло.

Автомат печатал пропуска. Один пропуск — сорок секунд. Число я знаю: когда-то засекал. Зачем засекал — не помню. Помню число. Числа держатся дольше причин.

Я стоял в очереди и считал людей впереди. Шесть. Потом подошёл ещё один — семь. Потом один ушёл, не дождавшись, — снова шесть. Я пересчитал. Шесть. Порядок не менялся, менялся состав. Это разные вещи, и я в этот день ещё не знал, что буду записывать различия.

На работе в понедельник всё сошлось.

Графу я завёл в понедельник утром — не для отчёта, для себя. Слева «опровергнуто», справа «подтверждено». Так я завожу их всегда: форма не моя, но моя её держит. Ряд шёл ровно. Одну строку я проверил дважды — сошлась дважды. Записал: «Сходится». Поставил в правую графу. Щелчка не было.

Щелчок — это когда два ряда сходятся и в голове защёлкивает, как замок. Не в ушах — в голове. Звук есть, я его слышу. После щелчка проверять не хочется — уже сошлось. Проверять после щелчка — мой единственный надёжный способ не поверить в лишнее. Я его вырабатывал дольше, чем учился считать.

В понедельник щелчка не было — просто сходилось. Это скучнее и честнее. Скучное я записываю. Честное — не всегда.

В четверг мне на сверку пришёл чужой приказ. Три страницы, гриф, резолюция «к сведению». В углу первой страницы стояла дата: двадцать восьмое ноября.

Без года.

Дата без года не считается. Это я знаю с института: число без источника — не число. Я не записал её. Перечитал строку про приказ и перечитал дату ещё раз — не чтобы запомнить, а чтобы проверить, что не запомнил. Проверил: запомнил. Записывать всё равно не стал. Дата без документа — шум; дата без года — тем более.

Ковальскую я видел в институте. Не часто — на семинаре по верификации, один семестр. Женщина не старая и не молодая, которую было не понять: говорила ровно, как читают протокол, и от её ровности хотелось проверять всё, что она говорила. Это, как я понял теперь, и был метод — доверять ровности меньше, чем кривизне. Тогда я понял наоборот.

На третьем занятии она сказала фразу. Половину её я помню до сих пор: «Проверяй всё». Вторую половину я не записал. Она не сходилась ни с чем, что я знал, — и я её вычеркнул в тот же вечер. Я вычёркивал чисто: перечитал — не сходится — вычеркнул. Метод был уже мой. Фраза — уже нет.

На зачёте она не спрашивала. Положила перед каждым лист: на листе — ряд. Задача была одна: найдите ошибку. Ошибка была одна. Я нашёл её — и ещё одну, вторую придумал сам.

Придуманную она проверила первой. Я спросил, почему наоборот. Она сказала: придуманную проверяют первой. Настоящая вас не обманет. Придуманная может. Зачёт получила вся группа, нашедшая настоящую. Запомнить она велела вторую. Я запомнил: придуманная ошибка живёт дольше настоящей. Настоящую закрывает находка. Придуманную — нечем.

Тогда же я впервые разложил документы на полу. Не на столе — на полу. Это было на её семинаре: она выдала нам стопку распечаток и сказала — разложите так, чтобы видеть всё сразу. Стол делит работу на страницы. Пол показывает её целиком. Я разложил и впервые

увидел свою работу не постранично. С тех пор раскладываю на полу. Ася видела это десятки раз. Ни разу она не сказала мне, что видит. Я не знал, что ей есть что сказать.

В пятницу я проверял работу Андрея — нового, из ночных смен. Он пересчитал ряд и поставил в правую графу то, чему не было источника.

— Число без источника не считается, — сказал я.

— Оно сходится с соседним, — сказал он.

— Сходится с соседним — это не источник. Это сосед.

Он перепроверил. Источника не было. Он вычеркнул строку. Я не сказал ему, что он сделал правильно; сказал — что сделал по форме. Похвалы у меня не было. Есть только «сходится» и «не сходится». Ему этого пока хватало. Ему вообще пока всего хватало.

Вечером я записал: «Андрей поставил число без источника. Указал. Перепроверил. Вычеркнул». Перечитал. Добавил: «Так меня учили». Перечитал ещё раз. Добавил: «Так я учу». Оба факта поставил рядом и не вычеркнул ни один. Они сходились между собой — а сходящееся я не трогаю.

В пятницу я снова стоял у автомата. Четыре человека. Я посчитал их раньше, чем заметил, что считаю.

Вечером записал: «Посчитал раньше, чем заметил». Перечитал. Оставил. Строка не сходилась ни с чем — и не расходилась ни с чем. Оставил, потому что она была правдой.

Неделя закрылась. Всё сошлось.

Глава 2. Дом

Дома у нас пахло бумагой.

Не книгами — бумагой. Офисной, серой, той, что пахнет пылью и клеем. Ася говорила: это от твоих папок. Я говорил: от твоих. Мы оба были правы, и оба не хотели быть правыми.

Я приходил в семь. Дочка в это время уже спала или делала вид, что спит. Ася сидела на кухне с телефоном или с чем-нибудь, что можно держать в руках. Мы говорили мало. Не потому, что не о чем, — потому что говорили днём, по телефону, коротко, по делу: «Заберёшь?», «Купила», «Опоздаю». К вечеру дел не оставалось. Оставались мы, и это было сложнее.

В тот вечер она спросила:

— Ты сегодня что делал?

— Работал.

— Что работал?

— Проверял.

— Что проверял?

Я сказал: ряд. Она кивнула. Я не знаю, что она услышала в слове «ряд». Может быть, ничего. Может быть, слишком много.

Я записал это потом, ночью, когда она уже спала: «Ася спросила, что я делал. Я сказал: проверял ряд. Она кивнула». Перечитал. Добавил: «Она не переспросила». Потом вычеркнул. Потом вернул. Потом оставил.

Я не знал, зачем записываю разговоры с женой. Я записывал работу. Работа была данными. Разговоры данными не были. Но я их записывал. Это было первое, чего я не мог объяснить в себе, — и я не стал объяснять. Объяснение — не графа.

Дочке было пять.

Она знала, что папа считает. Она не знала, что папа записывает. Это разные вещи, и она их ещё не различала. Для неё счёт был игрой: посчитать ступеньки, посчитать машины, посчитать, сколько раз мама скажет «подожди». Я не учил её считать. Она сама. Это было единственное, что она взяла от меня без моего участия.

В тот вечер она спросила:

— Пап, а сколько у меня зубов?

— Двадцать.

— А у тебя?

— Тридцать два. У взрослых тридцать два.

Она задумалась. Потом сказала:

— Значит, я ещё не взрослая.

— Значит, ещё нет.

Она кивнула и ушла. Я записал: «Дочка спросила про зубы. Ответил: двадцать и тридцать два. Она сказала: значит, я ещё не взрослая». Перечитал. Добавил: «Она сделала вывод из числа». Потом вычеркнул. Потом вернул. Оставил.

Она сделала вывод из числа. Ей было пять. Я делаю то же самое тридцать лет и называю это методом.

В шкафу в прихожей стояла коробка.

Серый картон, перевязанный бечёвкой. На боку — надпись карандашом, две строки. Я прочёл её один раз, в тот день, когда коробка пришла в дом, и с тех пор не перечитывал: перечитывать известное — не метод. Надпись я знаю наизусть.

Я не спрашивал, что внутри. Ася не говорила. Коробка стояла в доме два года. Она была частью дома, как выключатель. Ты её не замечаешь, пока не нужен свет. Свет мне не был нужен.

Однажды дочка спросила:

— Мам, а что в коробке?

Ася сказала:

— Бумаги.

— Чьи?

— Дедушкины.

Дочка кивнула. Ей было пять, и слово «дедушкины» для неё ничего не значило. У неё не было дедушки. Был человек, о котором не говорят.

Я не спросил, почему она не выбросила коробку. Я не спросил, почему не открыла её сама. Я не спросил ничего. Я записал: «Коробка в шкафу. Два года не открывали». Перечитал. Добавил: «Ася не говорила». Потом вычеркнул. Потом вернул. Оставил.

Я не знал, что это была первая вещь в доме, которую я не проверил.

В субботу мы пошли в магазин.

Ася попросила купить хлеб и молоко. Дочка хотела со мной. Я не хотел её брать — не потому, что не люблю, а потому, что в магазине я смотрю на ценники. Смотреть на ценники при ребёнке — нельзя. Ребёнок спросит, почему ты смотришь и не покупаешь. А я не знал, что ответить.

Мы вошли. Она держала меня за руку. У полки с печеньем остановилась:

— Хочу.

Я посмотрел на цену. Посчитал в голове. Сошлось. Дорого. Но сходилось. Я взял печенье.

Она улыбнулась. Я записал потом: «Дочка попросила печенье. Посмотрел на цену. Сошлось. Купил». Перечитал. Добавил: «Посмотрел на цену раньше, чем на неё». Вычеркнул. Оставил: «Купил».

Я не сказал Асе, что смотрел на цену раньше, чем на дочку. Я не сказал никому. Не потому, что это была неправда. Потому, что это была правда, которую нельзя записать. Правда без графы — не данные. Правда без графы — это то, что остаётся в человеке.

В среду я покупал хлеб. Булочная у перехода — покупаю по средам, много лет, порядок не менялся.

На чеке было две ставки. Десять — на хлеб и молоко. Двадцать две — на остальное. Я знаю это не из заголовков — из закона: базовую ставку подняли, льготную на продукты и детские товары сохранили. В очереди у булочной женщина сказала: «НДС подняли на еду». Я не поправил. Поправлять незнакомых — не мой метод. Записал: «Еда — по десяти. Подняли всё, кроме еды». Перечитал. Строка сходилась и ничего не объясняла тем, кто говорит «на еду». Оставил для себя.

Чек я не выбросил. Вечером развернул его у стола — там, где лежал файл. Чужая форма работала как моя: внизу — итог, вверху — дата. У итога был источник — касса. Единственный документ в доме, который сходился без проверки.

Утром чека на столе не было. Он был у дочки: она рисовала на обороте. Я не стал отбирать. У документа появилась вторая сторона, которой нет в форме. Рисунок нельзя приобщить. Чек с рисунком на обороте — не документ. Вещь.

Вечером она отдала его сама — с рисунком внутрь. Никто её этому не учил: ей пять лет, и она никогда не видела, как сдают бумаги с грифом. Она просто положила рисунок на ту сторону, где он не сотрётся. Перевернула чек, как переворачивают лист, который будут читать ещё раз.

Ставку я переписал в файл. Оборот — не переписал. Оборот не считается.

В пятницу Ася просматривала выписку по кредиту — платили последний год. Кредит мы брали три года назад, на машину. Тогда же к нему прилагался полис. Слово «прилагался» стояло в заявлении; никто из нас не перевёл его с канцелярского. Перевёл я — в пятницу — выпиской.

Полис — четыреста девяносто тысяч. Страховщику ушло сорок три тысячи шестьсот. Остальное — четыреста сорок шесть тысяч четыреста — ушло туда, куда выписка не смотрит.

Я пересчитал трижды. Сошлось трижды. Страховка стоила в одиннадцать раз дороже того, за что её продали. Записал разницу. Потом подумал, в какую графу её поставить, — и графы не нашёл. Дорогая страховка — не расхождение: она не расходилась ни с чем. Она была.

— Куда ушли деньги? — спросила Ася.

— Не в страховую.

— А куда?

— Выписка не отвечает.

— Спросим в банке?

— Спросим.

Мы не спросили. Записываю оба действия: спросим — не спросили. Спросить — значило узнать размер, а размер я знал. Зачем тогда спрашивать — не записал.

В понедельник я пошёл в банк один. Мы не спросили — куда ушли деньги. Я спросил — что я подписал. Копию заявления выдали через час: форма та же, что три года назад, — я её не узнавал, потому что не читал.

Галочка стояла против строки «страхование жизни заёмщика». Галочку ставил я. Рядом — моя подпись. Я не помню, чтобы я ставил. Рука моя — помнит.

Полис страховал мою жизнь. Выплата — банку. Если я жив — банк получает график. Если не жив — банк получает всё сразу: четыреста девяносто тысяч. В обе стороны банк в плюсе. Разница — в сроках. Моя жизнь в этой арифметике — график. Я вписал себя в чужую смету — не читая. Строки про других я писал годами. Теперь прочёл одну про себя.

Асе я не сказал, что прочёл про себя. Записал: «Полис страхует жизнь заёмщика». Слово «я» в запись не влезло. Графа не знает слова «я».

В ту же неделю у Клавы с третьего этажа заблокировали карту. У кассы, при деньгах. Ася пересказала: жалуются — отвечают «так работает антифрод», снимают через день. В новостях в тот вечер говорили: жалоб на банки за полугодие стало больше на сорок процентов. Источник был — передача. Ряд я не проверил: проверять было нечем, передача ряда не даёт.

Через два дня Ася принесла вторую цифру: жалобы на навязанные страховки за год выросли вдвое. Тоже из передачи. Я записал обе — рядом, не соединяя. Соединять было нечем: одна — про карты, другая — про полисы. Рядом — не значит вместе. В моей работе рядом всегда лежит то, что никто не связал.

В отделение я пошёл с Клавой сам. Для моего метода это был невозможный шаг: проверять было нечем. Я пошёл — не проверять. Проводить.

У кассы Клава развернула распечатку. СМС от банка: «Операция заблокирована службой безопасности». Не «специалист». Служба. У слова нет лица — и это напечатано на бланке.

— Так работает антифрод.

— Антифрод — это кто?

Она помолчала. И сказала то же самое.

Руки у Клавы дрожали, пока она подписывала заявление. Я поймал себя на том, что считаю дрожь: четыре в секунду. Посчитал. Зачем посчитал — не понял. Дрожь не входит ни в одну графу.

Блокировку сняли в тот же день. Снимают обычно через день — при личном визите быстрее. Кто снял — не сказал никто.

Вечером записал: «Клаве не помог». Перечитал. Хотел добавить, чем не помог. Строки не нашёл. Впервые графа отказала не в ответе — в вопросе. Оставил запись без добавления. Пустая графа — первая честная запись за месяц.

В субботу вечером Ася показала мне телефон.

— Смотри.

Я смотрел. В ленте повторялись посты — одни и те же, в разных формулировках. Кто-то считал пенсию в процентах от хлеба, кто-то — проездной в процентах от лекарств. Комментарии росли: под каждым постом — числа, суммы, зарплата, делённая на корзину. Люди считали по платёжкам. Платёжка — источник. По моей методике источник считается.

Я хотел посчитать саму ленту: сколько человек видит одно и то же, кто это подбирает. Посчитать было нельзя — нужен ряд всей ленты, а у меня была наша. Лента одной семьи — не выборка.

Записал: «Одни и те же посты — одним и тем же людям. Кто подбирает — не установлено».

Ася сказала:

— Мне это уже не показывают. Просто показывают.

Я не понял, чем одно отличается от другого. Спросил. Она ответила:

— Тем, что я перестала выбирать.

Ответ не сходился с моим счётом и сходился с чем-то, чего я не считаю. Записал его без графы.

За столом она что-то писала. Я не смотрел. Её бумага — не мой ряд.

В воскресенье утром дочка смотрела выпуск новостей — игрушки рядом, экран далеко. Диктора она не слушала; слушала, когда говорили двое, — сказала «дяденьки». Двое спорили, о чём — я не вслушивался. Она посмотрела на меня и засмеялась.

Записал: «Два дяденьки. Спорят». Перечитал — не для дочки писалось, для точности. Оставил.

В воскресенье вечером Ася спросила:

— Ты когда-нибудь думаешь о том, что будет?

— В каком смысле?

— Вообще. Через год. Через пять.

Я сказал: не думаю. Это была правда. Я не думал о будущем. Я думал о ряде. Ряд не имел будущего. Ряд имел продолжение. Это разные вещи, и я их ещё не различал.

Она сказала:

— Я думаю. Иногда.

Я не спросил, о чём. Я записал: «Ася спросила, думаю ли я о будущем. Сказал: нет. Она сказала: я думаю». Перечитал. Добавил: «Я не спросил, о чём». Оставил.

Это было второе молчание. Первое — про коробку. Второе — про будущее. Они складывались. Я записывал каждое отдельно. Так было проще. Так сходилось.

Ночью я не спал.

Я лежал и считал. Не людей — шаги. Сколько шагов от кровати до двери. От двери до кухни. От кухни до шкафа с коробкой. Я знал числа. Я их не записывал. Числа шагов — не данные. Числа шагов — это то, что остаётся, когда не спится.

Я встал. Прошёл на кухню. Выпил воды. Посмотрел на шкаф в прихожей. Коробка стояла на месте. Я не открыл её. Я вернулся. Лёг. Закрыл глаза.

Я знал только, что коробка стоит в шкафу. И что я её не открываю.

Перед сном я ждал, что Ася спросит ещё раз — про счёт.

Вопрос не пришёл.

Утром я записал: «Ночью не спал. Считал шаги. Не открыл коробку». Перечитал. Добавил: «Причину не установил». Потом вычеркнул. Потом вернул. Оставил.

Причину я знал. Я не хотел знать, что внутри. Потому что если бы узнал — пришлось бы проверять. А проверять — это моя работа. А работа — это то, что я умею. А то, что внутри коробки, я не умел. И не хотел учиться.

«Причину не установил» — это была первая ложь в файле. Я её не заметил.

Глава 3. Тесть

Осень две тысячи двадцать третьего.

Мы приехали в субботу. Ася сказала: «Побудем до вечера. Он не любит долго». Я не спросил, почему не любит. Я уже знал: он не любит, когда смотрят.

Дочке было два; она спала в коляске, и её никто не будил. Лифт не работал — не сломался, а не работал всегда, сколько я помню. Мы поднимались пешком. Ася несла торт. Я считал ступеньки. Сорок восемь. Я считал их каждый раз. Они не менялись.

Дверь открыл он сам. Не ждал в комнате — открыл сам. Я не знаю, зачем это запомнил. Может быть, потому, что он редко открывал.

— Проходите, — сказал он. — Обувь не снимайте, у меня чисто.

У него было чисто. Не как у людей, которые убрали перед гостями, — как у людей, которые убирают всегда. Книги стояли ровно. На полу не было ничего. Я запомнил это: на полу не было ничего.

Он был в рубашке, застёгнутой до второй пуговицы. Не старый — шестьдесят с чем-то, но выглядел старше. Говорил тихо, ровно, как читают то, что уже прочитали.

Ася отнесла дочку в комнату и осталась с ней. Мы остались на кухне.

— Как работа? — спросил он.

— Идёт, — сказал я.

— Ряды?

— Ряды.

Он кивнул. Налил чай. Не спросил, какой. Налил — и поставил. Я взял. Чай был крепкий, без сахара. Я не пил такой. Я выпил.

— Ты проверяешь всё? — спросил он.

— Стараюсь.

— Стараться — не метод, — сказал он. — Метод — это когда проверяешь и тогда, когда не хочется.

Я записал это потом, ночью. Не потому, что это было важно. Потому, что это была его фраза, а его фразы я записывал. Я не знал, зачем. Я записывал.

На полу ничего не лежало. Вдоль стены — вёдра, картонки, складной стул. Между ними — пустое место. Как будто там что-то раскладывали и убрали. Я записал: «Пол пуст». Графы этой записи не нашёл: пустота — не расхождение. Пустота — это то, чего нет. В моей методике нет графы для того, чего нет.

На столе лежали тетради. Три, в клетку, обложки стёрлись. Я перевернул страницу — и не нашёл столбцов. Ни рядов, ни граф, ни чисел больше двух в строке. Слова. Страницы слов.

— Это что? — спросил я.

— Счёт.

— Какой счёт?

— Мой.

Он закрыл тетрадь. Не торопясь — так закрывают не чужое, а своё. Я не спросил, что он считал. Человек, который считал, перестал считать числами — это не сходилось ни с чем, что я знал о счёте. Я записал: «Столбцов нет. Спросил. Ответил: свой». Оставил.

Потом он взял рулетку.

Он шёл по стенам и считал. Не шаги — сантиметры. Он мерил стену, записывал в блокнот, переходил к следующей. Медленно, ровно, как читают протокол.

— Зачем? — спросил я.

Он не ответил. Он не отвечал на вопросы, которые считал глупыми. Он мерил дальше. Потом сказал:

— Чтобы знать.

— Что знать?

— Что всё на месте.

Я записал: «Тесть пересчитывает квартиру по сантиметрам. Каждый месяц — так сказала Ася». Перечитал. Добавил: «Я так не делаю». Потом вычеркнул. Потом вернул. Оставил.

Я так не делал. Я пересчитывал ряды. Он пересчитывал комнату.

За столом он спросил про дочку.

— Сколько ей?

— Два.

Он посмотрел в комнату, где она спала. Потом сказал:

— Хорошо. Пусть вырастет — и считает. Считать — единственное, что не врёт.

Я записал это. Не потому, что это было важно. Потому, что это была его фраза. Я записывал его фразы. Я не знал, зачем. Я записывал.

Вечером он вышел проводить нас до двери.

Он стоял в дверях, в рубашке, застёгнутой до второй пуговицы, и смотрел, как мы спускаемся. Я шёл последним. Я обернулся. Он всё ещё стоял.

— Приезжайте, — сказал он. — Я не люблю долго. Но приезжайте.

Я записал это. Не потому, что это было важно. Потому, что это была его фраза.

Дома Ася сказала:

— Он был очень уверен в своих числах.

— Я не видел чисел.

— Они у него не на столе.

Она не добавила ничего. Я не переспросил — переспрос в моём исполнении звучит как допрос. Записал: «Она знает. Чего — не установлено». Перечитал. Оставил.

В октябре телефон молчал. В двадцатых числах Ася уехала к нему одна. Вернулась в тот же день, одна, в верхней одежде, и не сказала ничего. Умение не отвечать так, чтобы не замечали, что не ответили, у неё семейное. Я узнаю его в себе.

Третье молчание — про тестя. Первое было про коробку, второе — про будущее. Они складывались. Я записывал каждое отдельно. Так сходилось.

Я мог спросить.

Я не спросил.

Записал: «Не спросил». Перечитал. Оставил.

Глава 4. Наследство

В конце октября Ася позвонила мне на работу.

Так она не звонила никогда: работа у меня шла отдельно, дом — отдельно, и границу между ними держал я.

— Папа в больнице.

— Что случилось?

— Сердце.

Я записал: «Сердце. Со слов Аси». Источник — она. Источник считается. То, чего она не договорила, считаться не может: графы для недосказанного в моей методике нет. Графы для недосказанного вообще ни в чьей методике нет — это я пойму позже. Тогда я просто записал слово.

В больницу я не поехал. Мне сказали: не надо. Я не настаивал — не потому, что не хотел, а потому, что моё присутствие там было не работой и не домом, а третьим местом, для которого у меня не было порядка. Я записал: «Не поехал. Причину не установил». Строку я перечитал и заметил, что уже записывал её однажды — в другой главе своей жизни. Оставил.

В пятницу Ася позвонила снова.

— Папа умер.

— Как?

— Сердце.

Похороны были во вторник. Без пафоса — не потому, что так решили, а потому, что попрощаться, кроме нас, пришли четверо. Дочка осталась с Клавой с третьего этажа. Я стоял у ограды и считал людей. Их было семь, вместе со священником. Священника я в счёт не включал — потом включил, пересчитал, получил восемь. Порядок не менялся. Менялся состав.

Там была женщина. Ася назвала её — К. Голос у неё был ровный, как чтение протокола. Я не понял, где я слышал эту ровность. Голоса узнаются раньше лиц, но я не был уверен даже в голосе — был уверен, что слышал. Я не спросил, кто она. Записал: «Женщина. Ровный голос. Ася сказала — К.». Оставил без графы.

Квартиру разбирали в ноябре. По сантиметрам теперь мерили мы: я прикладывал рулетку, Ася переносила отметки. Проход у стены держал восемьдесят. Я измерил — восемьдесят. Зачем-то мы его сохранили: мебель уже выносили, а проход остался. Причину не установил.

На кухонном столе лежали тетради. Те самые, без столбцов. Ася собрала их в папку и отложила отдельно. Я не спросил, что будет с ними. Молчание про тестя закрылось вместе с квартирой — и открылось заново, уже про бумаги. Оно складывалось, но я считал его по одному.

Фотографию я видел один раз. Она лежала лицом вниз в коробке из-под сервиза, среди завернутой в газеты посуды. Я не переворачивал. Чужое лицо лицом вниз — это инструкция к невстрече. Я её выполнил.

В декабре пришла К. Не ко мне — к Асе. Они говорили на кухне два часа, дверь была закрыта. Я слышал ровный голос и не слышал слов. Когда К. уходила, она несла папку. Бумаги отца ушли с ней. Записал: «Бумаги — у К. Дальше — не установлено».

Остальной год в файле пуст. Не потому, что не было событий: были. Была работа, ряды сходились, дочка выросла из коляски в стул. Но файлы о сходящемся не ведут. Пустота — это то, чего нет. У меня нет графы для того, чего нет.

В декабре следующего года Ася вернулась из гостей с коробкой.

Серый картон, перевязанный бечёвкой. Она поставила её в шкаф, между альбомами и пылесосом, и закрыла дверцу. Я не спрашивал, что внутри. Я знал, что внутри: бумаги, которые забирала К., и то, что к ним добавилось за год, о котором я не спрашивал.

— Оттуда? — спросил я.

— Оттуда.

Больше ничего. Я не спросил, почему К. отдала их ей. Я не спросил, что К. нашла за год. Я не спросил, почему они вернулись в наш дом, если К. разбирала их одна. Три вопроса стояли в воздухе, как три пустые графы. Я их не заполнил.

К зиме у Аси появилась тетрадь в клетку. Она писала в неё по вечерам, на кухне, когда дочка спала. Я не спросил, что она записывает. Её бумага — не мой ряд. Но однажды ночью я проходил мимо кухни и увидел, что тетрадь лежит открытой, и в ней — строки. Почерк я не рассмотрел. Рассматривать не стал: читать чужую тетрадь — не метод. Метод был бы — не смотреть. Я смотрел одну секунду.

Коробка стояла в шкафу. Я её не открывал.

Встала на место.

Глава 5. Пакет

В сентябре мне пришло задание.

На рабочую почту, без темы, без подписи, с одной строкой в шапке: «Собрать. Свести. Подготовить выгрузку. Срок — четверг».

Я не удивился. Задания приходили так всегда. Я не спрашивал, кто присылает. Я не спрашивал, зачем. Я делал.

Задание было короткое: проверка ряда. Ряд пришёл чистый. Без пропусков, без выбросов, без правок в истории. Так данные не бывают. Данные всегда грязные: в них опечатки, сдвиги, следы чужих рук. Чистый ряд — это ряд, который кто-то уже почистил до меня. Я записал: «Данные чистые. Чистка не установлена». Перечитал. Оставил.

Я вёл ряд по месяцам. Десять из одиннадцати лет вели себя как положено: шум внутри границ, границы внутри нормы. Одиннадцатый не вёл себя никак. Сентябрь восемьдесят третьего не походил ни на соседние месяцы, ни на себя в другие годы. Он не выбивался — выбившееся видно сразу. Он стоял ровно там, где не должен был стоять ровно.

Я перечитал месяц трижды. Трижды сошлось. Я записал: «Сентябрь 1983. Расхождение не с рядом — с природой ряда». Перечитал. Формулировка мне не принадлежала — я её выписал из головы, а голова — не источник. Правил не стал: источник найдётся, тогда и перепишу.

Я не думал: «Это странно».

Я думал: «Это работа».

Во вторник мне написали. Не от начальника — от человека, которого я не знал. По внутренней почте, коротко: «Ряд за август — сгладить. Слишком резкий перепад, мешает чтению. Спасибо».

Я посмотрел на ряд. Перепад был резкий. Он был настоящий. Сгладить я мог — это не подлог, это метод: сглаживание убирает шум, оставляет тренд. Но перепад не был шумом. Перепад был фактом.

Я записал: «Просьба отмечена. Не исполнено». Перечитал. Оставил. Потом подумал и добавил: «Основание не установлено». Это была вторая строка с одним и тем же окончанием за один месяц. Я не соединил их. Соединение — это вывод, а у меня не было источника. У меня была просьба.

Прошло три недели.

В четверг на столе лежал конверт. Без обратного адреса, без марки — значит, принесли руками. Внутри — распечатка. Двенадцать страниц, столбцы, нумерация от руки, простым карандашом.

Я не спрашивал, кто принёс. Секретарь не знал, курьер не помнил, а спрашивать у людей, которые не знают, — способ собирать шум. Я записал: «Пакет без отправителя. Отправитель не установлен». Потом перечитал и зачеркнул половину: я хотел знать. Факт я оставил.

Неделю я прогонял распечатку против своего ряда.

Не потому, что хотел: потому что не мог не. Распечатка лежала на столе, как лежит невыключенный свет, — её нельзя не заметить, а заметив, нельзя не проверить. Я работал вечерами. Ася не спрашивала, что это. Дочка пришла однажды, посмотрела на листы и сказала: «Циферки». Я сказал: «Цифры». Она сказала: «Циферки» — и унесла своё слово в другую комнату. Я записал спор целиком и не выбрал сторону: оба варианта были правильные, для разных языков.

В четверг, через неделю, всё сошлось.

Распечатка и мой ряд сходились по всем двенадцати страницам — не в цифрах, в поведении: один и тот же месяц, одна и та же чистота, одна и та же ровность там, где ровности быть не должно. Сентябрь восемь тридцать третьего стоял в обоих рядах одинаково неправильно.

И тут был щелчок.

Я слышал его — ясно, как в первый раз. По своей методике я должен был проверять после щелчка — это единственный способ не поверить в лишнее. Я проверил. Пересчитал ключевые страницы руками, без машины. Сошлось.

Я поймал желание раньше, чем оно стало выводом: мне хотелось, чтобы распечатка подтверждала мой сентябрь, — и я успел заметить, что хочу. Желание я не вычеркнул — вычеркнуть его было нельзя, оно уже было. Я вычеркнул его влияние: пересчитал руками то, что уже сошлось дважды.

Вечером я открыл свой файл и написал строку. Не как запись — как формулу, столбиком:

«Я не умею ошибаться в ту сторону, в которую ошибаются от желания».

Перечитал. Оставил. Строка не сходилась ни с чем в файле и ни с чем противоречила. Такую строку не проверяют — её держат.

Я не записал, кто прислал пакет. Не записал, что не знаю. Записал только факт и формулу — и этого хватило на весь день.

Ночью я не спал. Не из-за ряда — из-за того, что ряд теперь был два. Два ряда, которые сходятся, — это уже схема. Схему нельзя вычеркнуть. Схему можно только проверить — или запустить прогон. Про прогон я думал недолго: для него нужны случайные столбцы, а случайных столбцов у меня не было. Было два. Два — не выборка. Я отложил мысль.

Утром в пятницу я пошёл на работу обычным путём. В шкафу в прихожей стояла коробка, я прошёл мимо неё, не посмотрев, — и это было последнее утро, когда она была просто коробкой.

Часть первая закрылась в четверг.

Всё сошлось.

Глава 6. Коробка

Коробку я открыл в пятницу. В четверг всё сошлось.

Между этими двумя фактами связи нет. Связь провёл я сам. Записываю сразу, чтобы потом не переписать задним числом: сначала было схождение, потом коробка. Порядок не менял.

Коробка стояла в шкафу в прихожей, между альбомами и коробкой от пылесоса. Картон серый, от офисной бумаги, перевязан бечёвкой — узел на бантик, как перевязывают не для хранения, а для вида. На боку надпись карандашом: «М. Л. Личное». Ниже, другим нажимом, ровнее: «не разбирать». Я прочёл обе как инструкции к разным вещам и выполнил обе с точностью до наоборот.

Ася сказала: бумаги отца. Больше ничего не сказала.

Я не спросил, почему она их не выбросила.

Мы не говорили о её отце. Это не была тема-запрет: тем не было и темы. Человек, который умер три года назад, в нашем доме не существовал — существовал человек, о котором не говорят. На днях рождения его не поминали, в спорах не вспоминали, фотографию я в этом доме видел один раз, в коробке из-под сервиза, лицом вниз. Люди, которых нет, обычно остаются в речи. Он остался в тишине — и занимал её больше, чем занял бы любой говорящий.

Я не собирался открывать коробку. Я вообще не думал о ней. Она стояла там два года — я знал, что она есть, но не думал. Как не думаешь о выключателе. Он есть, ты его трогаешь, когда нужен свет, но не думаешь о нём.

Свет мне не был нужен.

— Как она к тебе попала? — спросил я тогда же.

— Передали. — Ася умеет не отвечать так, что ты не замечаешь, что тебе не ответили.

Я не стал допытываться. Записываю и это: не стал. Не из деликатности — из привычки считать, что данные, которых не просят, не считаются. Через месяц я буду знать, что это было самое дорогое моё допущение за одиннадцать лет. Тогда я его не взвесил.

Открыл в пятницу утром. Ася ушла с дочкой к врачу. Я остался один.

Папку мне отдала К., у неё на кухне, в декабре позапрошлого года. Она налила мне чаю, поставила коробку на стол и сказала: «Тетради его. Проверено то, что проверяется. Проверка не кончается — она меняет руки». Я сказала, что читать не буду. Она кивнула: «Тогда отнеси домой и не открывай». Я спросил, почему не открыла она сама. Она ответила: «Открывала двадцать лет». Она проводила меня до лифта. Меньше всего это было похоже на передачу наследства; больше всего — на передачу смены. Я не открыла. Я не проверяю — я уже проверила однажды.

Тетради его. Моего мужа. Я в них не заглядывала — ни в декабре, ни после. Знала только, что они лежат в шкафу, где лежат вещи, которые никто не трогает. И знала, что муж о них не спросит, пока не случится что-то, что он сам назовёт работой.

Внутри: три тетради в клетку, обложки когда-то были синими. Между тетрадями — карточки, исписанные мелко, с двух сторон, разложенные по годам: 1983, 1984, 1987, 1992, 1997. Дальше — пусто. Последняя карточка — девяносто седьмой год. Дальше карточек нет, а тетради есть: как будто человек в какой-то момент перестал раскладывать работу по годам и начал складывать её в один поток. Папка с копиями — копии без грифов, нумерация от руки, простым карандашом. Один лист без заголовка.

Тетради датированы не все; там, где дата есть, она стоит в левом верхнем углу и отделена от текста чертой — как отделяют то, что не должно смешиваться с содержимым. Он разделял дату и работу. Я разделяю дату и работу. Этого мало, чтобы назвать нас родственниками; этого достаточно, чтобы меня насторожить.

Я открыл первую тетрадь с конца — так проверяют протоколы: итог раньше процесса. Итога не было. На последней странице стояла фраза, оборванная посередине, — и всё. Я вернулся к началу.

Почерк был не мой. Я не знал этого почерка. Мелкий, с наклоном вправо. Я вообще не знал, что у него был почерк — для меня он был человеком, о котором не говорят, а человек без речи обычно без почерка. Я никогда не видел, как пишет отец Аси.

Я открыл дневник и стал читать. Первая запись датирована сентябрём двадцать третьего — год смерти Марка совпадает: писал незадолго до конца. Это был тот документ, который он отдавал на проверку Ковальской.

Курсивом набраны страницы, не принадлежащие автору записей. Пометки на полях — курсивом в кавычках: рука не совпадает с рукой записей.

В квадратных скобках — не его рука.

Тайный дневник Марка

14 сентября. 2023 года. Вечер.

Задача была рутинной. В этом весь ужас — она была рутинной.

Проследить первичные исторические капиталы нынешних бенефициаров Концерна: от фондов до закрытых силовых корпораций. Такой запрос я выполнял двести раз. Алгоритм шёл по транзакциям вглубь, как положено, — и я смотрел на строку прогресса, как смотрят на межгород: дорого, скучно, ничего не будет.

На глубине сорока с лишним лет он упёрся не в разброс. Он упёрся в схождение. Все линии — все, без исключения: транзакции, директивы, протоколы согласования внешнеторговых операций — сошлись в одной тонкой временной отсечке. Сентябрь 1983 года.

Я перезапустил запрос. Сошлось. Я изменил параметры. Сошлось. Я оцениваю вероятность случайного совпадения такой плотности ниже одной миллионной. Я умею считать. Я не умею ошибаться в ту сторону, в которую ошибаются от желания.

«он умеет»

Потом массив открылся сам. Не потому, что у меня был допуск. Потому что у ответа не должно было быть адресата — и он ждал того, кто придёт за ним без приглашения. Гриф: «Группа внешнего управления — Фонд Ликвидации».

Первым в архиве лежала не директива. Не переписка. Не финансовый отчёт. Расшифровка радиообмена и отчёт об операции над Сахалином от первого сентября 1983 года.

Рейс KAL 007. Южнокорейский «Боинг-747».

Я сидел в темноте модуля очень долго. Не потому, что не знал, что думать. Потому что знал, что думать дальше, — и это «дальше» занимало сорок лет.

В официальной истории это называется трагедией и ошибкой. В глубине массива это идёт под другим кодом: «Точка разрыва». Точка разрыва — это слово из инженерии, а не из истории. Разрывы не случаются. Разрывы создают.

Я не утверждаю, что рейс сбили намеренно. Я не знаю, кто и зачем. Я знаю, что официальная версия не объясняет всё. Если версия не объясняет всё — она объясняет что-то другое.

Завтра я пройду дальше вглубь. Записываю это не для истории. Для порядка. У меня появился порядок, и я боюсь его потерять за ночь.

Охладители в серверном зале гудели всю ночь. Я впервые заметил их звук.

21 сентября. Ночь.

В архиве лежит распоряжение от седьмого августа восемьдесят третьего. Постановления о трудовой дисциплине. Сводки: рейды в универмагах, парикмахерских, банях, кинотеатрах — в рабочие часы. Данные задержанных передавались по месту работы. Я читаю это и вижу то, чего в документе нет: график.

Не порядок — график. Унижение, распределённое по часам.

Смотрите. В четырнадцать ноль-ноль гражданин обязан стоять у станка. В четырнадцать ноль-ноль же в магазинах «выбрасывают» дефицит — единственный раз в сутки. К восемнадцати полки пусты. Система наказывает гражданина за то, что он ищет то, чего она сама не выдаёт. Это не сбой. Сбоями называют то, что повторяется случайно. Это калибровка: оператор меряет предел унижения, который переносит население, — не для отчёта. Для будущего.

Результат калибровки понадобился через восемь лет. Результат был: бесконечность.

У меня есть три часа. Я потрачу их на сводки.

25 сентября. Вечер.

Алгоритм выдал сводку по заводу за девяносто седьмой. Рутинный запрос по ближайшему совпадению — их у меня сотни, я даже не смотрел, какая. Открыл первую страницу. Дата: двадцать восьмое ноября девяносто седьмого.

Брат умер двадцать восьмого ноября девяносто седьмого.

Официально — сердце. Я не был на похоронах: командировка, допуск, о котором нельзя говорить никому, даже родным. Отправил телеграмму из служебного модуля. Вернулся после сорокового дня. Дома остались его вещи и его бумаги. Ася тогда была маленькой.

Я помню, как он кашлял в тот год. Помню его последний звонок, в мае: «Приезжай в субботу. Поговорить надо». Я сказал: не могу — допуск. Он помолчал и сказал: «Ну ладно». Трубку положил он первым. Он никогда не клал трубку первым. И помню, как говорил: на заводе списывают не только станки. Я не слушал. У меня была работа, у меня был порядок, не было времени слушать человека, который кашляет и говорит про списание. Деталь «он никогда не клал трубку первым» придумана задним числом: проверить невозможно. Если память выдаёт детали по заказу схемы, проверке подлежит память. Внёс проверку памяти в график. Отметок в графике нет.

Теперь я вижу: его списали. Он был коэффициентом износа — той же величиной, что в актах, только в графе без имени.

Я пересчитал сводку. Дата совпадает с днём подписания акта передачи линий. Я не утверждаю, что это причина. Я утверждаю, что совпадение не проверяется в его пользу ни одним документом: документов нет.

Теперь у меня две сводки: моя теория и мой брат. Они срослись. Разрывать нельзя: если разорвать, останется только боль, а боль не пересчитывается.

30 сентября. 03:40.

Нефть. С середины восемьдесят пятого по начало восемьдесят шестого цена упала с тридцати долларов до десяти. Восемьдесят шестой: минус двадцать миллиардов бюджету Союза. Зерно с семидесятых импортное — на корм скоту и на хлеб. Нефть не платит — хлеб не едет.

Официально: Эр-Рияд возвращал долю рынка. Экономика. Никто не виноват.

Спорно: согласованный обвал. Документов нет.

Стихийно: рынок сам. Оператора нет.

Я не знаю, какая верна. Я знаю, какая выгодна.

Причина в документах не указана. Я допускаю, что оператора не было: окно открылось само. Окно называют стихией; стихия — идеальное алиби: у неё не бывает заказчика. Директивы, которые обычно ставят этому обвалу в пару, подписаны раньше самолёта — в ноябре восемьдесят второго и январе восемьдесят третьего. Слабый ум скажет: значит, схемы нет. Сильный скажет: значит, самолёт был не началом, а управляемой точкой уже запущенной программы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.